

Финалист премий
"НОС"
и "Национальный
бестселлер"

Андрей Аствацатуров

Люди в голем

РОМАН

18+



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Интеллигент Аствацатуров

Андрей Аствацатуров

Люди в голом

«Издательство АСТ»

2010

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Аствацатуров А. А.

Люди в голом / А. А. Аствацатуров — «Издательство АСТ»,
2010 — (Интеллигент Аствацатуров)

ISBN 978-5-17-116322-8

“Несмотря на гордый подзаголовок «роман», «Люди в голом» – по сути дела, сборник автобиографических виньеток, забавных историй, происходивших с автором, его соучениками, друзьями и друзьями друзей в разные годы – начиная с семидесятых и заканчивая двухтысячными. А некоторое формальное романоподобие этой конструкции придают, пожалуй, лишь сквозные персонажи, периодически всплывающие в разных новеллах книги – чаще всего при самых неожиданных и комичных обстоятельствах” (Галина Юзефович, “Саквояж”). Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-116322-8

© Аствацатуров А. А., 2010
© Издательство АСТ, 2010

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Андрей Аствацатуров

Люди в голом

На переплете иллюстрация Юлии Гуковой (передняя сторона)
и фото автора Екатерины Ожигановой (задняя сторона)

© Аствацатуров А. А.

© Бондаренко А. Л., художественное оформление

© Ожиганова Е. А., фото

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

«Человек ведь тем и интересен, что он непредсказуем, что он уклоняется от всех стандартов и предписаний. Что он сам по себе. Что он одинокий, голый, бесприютный на голой земле, равный самому себе. И живущий без оглядки».

Андрей Аствацатуров

В этом герое главное, что он совсем не имеет отношения ни к чему, что традиционно связано с образом «интеллигента». Не, он, конечно, цитирует Розанова и умело управляет русским языком, но в остальном он просто свой парень с некоторым запасом смешных историй, чтобы их рассказать.

Лиза Биргер, «Коммерсант»

Аствацатуров – филолог, и кому как не ему знать: «Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все что угодно». «Люди в голом» мешают людям глупеть.

Михаил Трофименков, «GQ»

Часть первая

Первая любовь

Как-то раз я заговорил со своей девушкой о том, что люди часто влюбляются в теле- и кинозвезд. В этом нет ничего удивительного: люди не могут жить без идеалов. Но в самой любви к звездам есть, как мне кажется, навязчивая логика. Один мой знакомый в пору своей юности был влюблен в итальянскую актрису Монику Витти. Он потом написал диссертацию о Чехове. Другой – в Мэрилин Монро. Теперь он руководит сетью торговых точек. Третий – в американскую порнозвезду. Он человек криминального склада, работает бандитом в небольшом провинциальном городе.

Я стал думать о себе и вспоминать. В закоулках памяти, наконец, обнаружил, что подобным образом был влюблен два раза. Первый раз – где-то в середине – конце семидесятых – в певицу Таисью Калинченко. Мне очень хотелось, чтобы она стала моей женой. Второй раз – в актрису Белохвостикову.

Это имело место уже в самом начале восьмидесятых, и моя влюбленность предполагала более легкомысленные отношения. Своей девушке я так и не смог объяснить, кто это такие.

Вспомнил, что Таисья Калинченко пела песню про лесного оленя, который должен был ее (Таисью) “умчать в страну оленью”.

Или, может, это Ведищева пела про лесного оленя?

Во всяком случае, Таисья Калинченко сыграла эпизодическую роль медсестры в длинном фильме “На всю оставшуюся жизнь”. И за это я ее полюбил. Полюбил больше, чем маму и бабушку, больше, чем самого себя, больше, чем Ленина.

В актрису Белохвостикову я влюбился, когда посмотрел фильм “Легенда о Тиле”.

И кто из меня получился?

А девушка вскоре после этого разговора меня бросила. Она уехала в Египет на Красное море работать аниматором.

Первые учителя

Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я ненастоящий. Что я игрушка, в которую люди почему-то неправильно играют. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем отталкивал. А потом мой одноклассник Витя Андреев случайно описался на уроке математики.

Этот Витя мне очень нравился. Не подумайте только ничего. Он мне виделся не в томасманновском голубоватом свете (“дай карандаш, мальчик, меня дядя Густав зовут, а я тебе за это Венецию покажу”), а в общечеловеческом.

На групповой фотографии нашего первого класса “В” – двадцать пять круглых румяных физиономий. Карикатурные гномы из диснеевского мультфильма про Белоснежку. И только у Вити лицо вдохновенного романтического героя. Грустные глаза и черные кудри. Таким, наверное, было лицо Байрона, когда он сидел за партой в Хэрроу и, забыв об уроке, сочинял свои первые стихи. Рядом на фотографии – Валентина Степановна, наша первая учительница, женщина неопределенного возраста в голубом кримпленовом платье. Она укоризненно и назидательно смотрит в фотообъектив. На правой щеке большая родинка.

Вите не повезло. Он пошел в школу, предварительно не выучившись читать. Теперь, по прошествии стольких лет, неумение читать кажется мне безусловным преимуществом, вели-

ким даром, на который способны родители, действительно, по-настоящему любящие своих детей. В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное.

Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все что угодно.

Витя читать не умел и потому был гораздо сообразительнее всех нас.

Но в школе так не считали. Витя числился отстающим. Ему стоило огромных усилий заучить буквы. Он уставал, пытался передохнуть. И тут выяснялось, что запоминать буквы недостаточно. Их нужно соединять в слова и правильно записывать. Другие уроки Витю отвлекали. На них нужно было заучивать массу всего сложного, малопонятного и ненужного, цифры, например, и тут же с ними что-то делать: вычитать, складывать, разбирать, какая из них больше другой. От всего этого у Вити голова шла кругом. Он ничего не успевал. Валентина Степановна сердилась и ставила Вите двойки.

“Кто не успевает, Андреев, – тот бывает неуспевающим!” – назидательно говорила она всякий раз, когда заносила ручку над его дневником.

Помню, в ноябре к нам пришла завуч младших классов Галина Павловна. Сухая старушка. Лицом она мне напоминала полярную сову. Я таких сов видел по телевизору в передаче “В мире животных”. На кончике носа у Галины Павловны настороженно поблескивали очки в тоненькой золотой оправе – подарок каких-то благодарных родителей.

Мы сталкивались с Галиной Павловной в коридоре на переменах.

Она смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Если кто-то пытался бегать, она истошно кричала:

– Стой на месте! – и зловеще шипела: – Др-р-рянь такая! Зла не хватает!

Так вот эта Галина Павловна пришла проверять, с какой скоростью мы читаем и сколько слов сможем прочесть за минуту. Всех выгнали за дверь, а потом вызывали в класс по одному, совали в руки книжку и заставляли читать вслух. Мы стояли в коридоре и тряслись от страха. Некоторые то и дело бегали в туалет.

Меня вызвали одним из первых.

Я сел за парту, взял книжку и стал быстро читать сбивающимся от волнения голосом.

– Не части! – перебила меня в какой-то момент Валентина Степановна. – Читай с чувством, с толком, с расстановкой!

– Чего? – не понял я.

– Чего-чего, – передразнила она. – Не “чего”, а “что”! Читай давай! Время-то идет!

Я читал до тех пор, пока Галина Павловна не сказала “стоп”.

– Теперь надо выяснить, – повернулась она к Валентине Степановне, – понял ли он, – тут она кивнула в мою сторону, – что прочел. – Вот... – она ткнула пальцем в книгу, – что это значит?

– Что? – испугался я.

– Вслух прочти! Горе луковое! – вмешалась Валентина Степановна.

– Царская Россия, – начал читать я, – была тюрьмой народов. Царь и помещики держали народы в невежестве и покорности.

– Стоп! – скомандовала Валентина Степановна. – Как ты это понял?

Я молчал.

– Как понял, я тебя спрашиваю?! – повысила она голос.

Я в страхе покосился на массивное обручальное кольцо у нее на пальце.

– Ну, царские помещики... того... всех обижали... особенно бедных, рабочих и крестьян...

– При чем тут бедные?

Я замолчал.

– Аствацатуров! Объясни нам, что значит слово “невежество”!

Я молчал.

– Невежество – это ты! – выдохнула наконец Валентина Степановна. Прическа “тюльпан” в стиле пятидесятых, напоминавшая огромный кукиш, яростно закачалась у нее на голове. – Позор какой! Выйди и позови... кто там по списку... Настю Батурина.

Потом выяснилось, что я успел прочитать шестьдесят три слова.

Я забыл рассказать, что до меня такой же процедуре подвергли Витю Андреева. Бедный Витя за минуту сумел одолеть только четыре слова.

– Хулиганство! – кричала на него завуч. Нас всех уже закончили экзаменовывать и запустили в класс, чтобы объявить результаты. – Лодырь! Немедленно родителей ко мне! Чтоб завтра же!

Валентина Степановна, стоя рядом с Галиной Павловной, буравила Витю взглядом, словно хотела его насквозь проткнуть.

После этого случая Витю окончательно записали в “отпетые”. Что бы Витя ни делал – его всегда ругали.

Прошел год. Витя по-прежнему отставал. Однажды на уроке математики он вдруг заплакался.

– В чем дело? – ледяным тоном спросила Валентина Степановна.

Оказалось, что Витя описался.

Об этом доверительным шепотом Валентине Степановна сообщила Оля Семичастных, отличница. Ее посадили рядом с Витей, чтобы она его “подтягивала” как отстающего.

Витя описался. Он тянул руку, чтобы попроситься выйти, тянул, тянул изо всех сил, но Валентина Степановна его не заметила.

И Витя описался.

Помню, как он стоял у доски слева от стола Валентины Степановны и плакал, растирая слезы по щекам.

А Валентина Степановна, красная от возмущения, кричала:

– И не жалоби меня! Сам виноват! Если б это произошло с хорошим учеником, я бы еще поняла и простила! Но это сделал ты, лодырь и двоечник! Иди с глаз моих!

Витя, рыдая, поплелся к двери.

Мы все смотрели на него с презрением и жалостью.

Когда я пришел домой, то первым делом рассказал папе, что Витя Андреев описался.

– Да? Вот как? – рассеянно ответил папа. Он читал газету, и ему явно не хотелось на меня отвлекаться. – А ваша эта, как ее, Валентина Степановна... что она?

– Очень сердилась. Сказала, что если б это произошло с хорошим учеником, то она бы его простила.

Папа вытаращил глаза. И помотал головой в недоумении.

– То есть как? Так и сказала?

– А что?.. – удивился я. – Что тут неправильного?

– Правильно, правильно, – сказал папа и как-то странно хохотнул. Я никогда прежде не слышал в его голосе таких интонаций. – Выходит так: если ты двоечник – веди себя тихо и писаться не смей! А если отличник, вроде вашего Лёши Петренко, то ссы и сри в штаны сколько душе угодно. Никто слова поперек не скажет!

Я испугался, услышав это. Мне захотелось, чтоб поскорее наступило лето и меня бы повезли на дачу в Комарово...

Одноклассники меня любили. Кажется, так. А может, и нет. Не помню. За что меня было любить? Наш класс боролся за какое-то там переходящее знамя, а я плохо учился, снижал все показатели и вдобавок был очкариком.

Меня называли “очкарик – в жопе шарик”, а Миша Старостин, когда мы в четвертом классе поссорились, придумал мне обидную кличку Очкастая Кобра.

Когда всех принимали в пионеры, меня приняли самого последнего.

Валентина Степановна сказала мне тогда при всех:

– У тебя, Аствацатуров, волосатое сердце.

А я оказался даже не в силах понять, что это она мне сказала...

Учитель физики по кличке Угрюмый, напротив, был не столь изысканно-метафоричен. Однажды он обдал меня прокуреным дыханием и назвал “умственным убожеством”.

Угрюмому было лет семьдесят. Он был стар и мудр. А я – молод и глуп. У него вообще-то была фамилия, я просто забыл. Такая дурацкая и угрюмая, под стать ему самому.

Угрюмый любил Есенина и Пушкина. Иногда на школьных вечерах он читал их стихи наизусть, и на глаза у него наворачивались слезы. Закончив стихотворение, он доставал из кармана брюк носовой платок и шумно чистил нос. А еще он любил нас всех воспитывать. Особенно меня. Все разговоры со мной у него почему-то сводились к одной формулировке: он умный, а я, соответственно, дурак. Я как-то поинтересовался, где это он приобрел такой запас мудрости, что его хватило на семьдесят лет. (Дерзить старшим я стал довольно поздно. И это была одна из первых попыток. Мне было пятнадцать.) Угрюмый посмотрел на меня с презрением. Но удостоил ответом.

Оказалось, он поумнел на фронте, в 1945 году, во время Балатонской операции. Угрюмый, тогда еще молодой и кудрявый, сидел в окопе вместе со своим другом. Друг ел кашу и радостно причмокивал. Угрюмый свою кашу уже доел. Но ему хотелось еще. Он с неприязнью смотрел на своего друга, который ловко орудовал алюминиевой ложкой. Внезапно послышался пронзительный свист, а затем чудовищный грохот. Угрюмый закрыл глаза и повалился на дно окопа. Когда он их открыл, друг сидел в той же позе, только у него теперь не было головы. Ее оторвало осколком снаряда. Зато обе руки были на месте. И они по-прежнему прижимали к груди миску с кашей. Угрюмый не растерялся. Он аккуратно разжал другу пальцы, забрал миску и спокойно доел кашу.

– Так я поумнел, – говорил мне Угрюмый. – Каша моему другу теперь была не нужна. Да и чем бы он ее смог есть?

История эта мне не понравилась. Роман Луи-Фердинанда Селина “Путешествие на край ночи”, где подобные сцены встречаются чуть ли не на каждой странице, я к тому моменту еще не успел прочитать. Я собрал свои вещи и вышел, не взглянув в его сторону и не попрощавшись. Потом мы два года враждовали. Я никогда с ним не здоровался и не отвечал на его вопросы. Я даже не реагировал, когда он пытался меня задевать. Я говорил с ним только тогда, когда он вызывал меня к доске, да и то с неохотой.

Вскоре после того как мы закончили школу, он умер. Мне даже позвонил кто-то из одноклассников и позвал на похороны. Но я не пошел.

Мои одноклассники очень уважали Угрюмого. И хорошо учились по его предмету. Тройки были только у меня и у одного мальчика из соседнего класса.

Хм...

Спи спокойно, дорогой учитель. Ты не зря страдал и боролся.

В наших супермаркетах можно найти кашу на любой вкус.

Бассейн

Кстати, мое поступление в школу доставило родителям много хлопот. Помню, они страшно суетились, куда-то бегали, кому-то звонили, подключали чьих-то родственников.

В итоге я поступил.

Школа, куда меня определили, считалась элитарной, с углубленным изучением английского языка. Родители были счастливы, но дали мне понять, что для такого оболтуса, как я, это большая честь.

– Обещай мне, что будешь получать только “пятерки”! – строго требовал папа.

Я обещал. И даже первое время старался изо всех сил. Но потом что-то произошло. И даже не потом, а почти сразу. С одноклассниками у меня вроде бы конфликтов не возникало. Дети как дети. Я никого не задираю по причине слабого здоровья. И меня, в свою очередь, никто не трогал.

Дело было в учителях. Они оказались совсем не похожими на тех взрослых, которые приходили в гости к моим родителям. Особенно учитель физкультуры Александр Палыч.

Я постепенно становился все более рассеянным. На уроках по математике “постоянно вертелся”, как говорила моей маме наша учительница Валентина Степановна.

В общем, отличника из меня не вышло. Пятерки иногда появлялись в моем дневнике. Но четверок и троек было больше. Иногда я даже получал двойки. Но они не расстраивали. В каждой я различал изящный изгиб лебединой шеи, который можно было подолгу разглядывать. У родителей на этот счет было другое мнение. Поначалу меня ругали, наказывали и даже пытались “серьезно поговорить”. Потом – просто махнули рукой.

В некоторых еврейских семьях подобные проблемы решаются просто. Ребенка начинают усиленно раскармливать.

– Мой Додик – не гений. Это ясно... Зато пусть будет толстый, – заявляет своей свекрови за обедом одесская мамаша. Тут же рядом сидит упитанный Додик и с аппетитом доедает котлету. Потом он встанет из-за стола (“Додик! Шо нужно скызать?” – “Спасибо!” – “Вот так!”), украдкой возьмет из вазочки в серванте конфеты, рассует их по карманам и радостно побежит играть во двор.

Я вырос не в Одессе, а в Ленинграде. Поэтому меня не стали раскармливать. Некоторое время я был предоставлен самому себе. Но потом за меня снова взялись и решили записать в бассейн. Мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Вода была исключительно дачным развлечением, а в городе я и мой приятель Лёша Безенцов предпочитали гонять по двору резиновый мяч.

Родители не поощряли моей дружбы с Безенцовым. Они, видимо, подозревали, что его мнение для меня гораздо важнее их собственного.

– Безенцов этот, я погляжу, твой духовный вождь, – иронически говорил папа.

Выражение “духовный вождь” мне очень нравилось. Я его тогда часто повторял.

– А кто у тебя духовный вождь? – спросил я однажды папу.

– Иммануил Кант, – коротко бросил папа, и больше с подобными вопросами я к нему не приставал.

Бассейн политехнического института, серое уродливое здание, располагался напротив нашего дома, через дорогу. В холле было много народу: дети, их родители, дедушки, бабушки. Все толпились возле какой-то стеклянной двери. Оттуда время от времени высывалась тетка в тренировочном костюме с бумажкой в руке и выкликала чью-нибудь фамилию. Наконец дошла очередь и до меня. Наверное, не стоит рассказывать, как внимательно тетка вглядывалась в бумажку и, спотыкаясь, пыталась воспроизвести то, что там было написано.

– Авцар... нет... Ацвара... бог ты мой... Астаравацуров! – выдавила она наконец, и я, услышав это сочетание звуков, догадался, что речь идет, по-видимому, обо мне.

Я протиснулся сквозь толпу детей к тетке, поднял голову и робко сказал:

– Аствацатуров...

– Что? – удивилась она.

– Меня зовут Андрей Аствацатуров.

– Астра... ладно, проходи, мальчик. побыстрее. По лестнице на второй этаж. Тренер уже ждет. Плавки с собой?

– Да.

– Полотенце? Мыло?

– У него все есть! – подскочила мама. – Андрюша! У тебя все в пакете... в полиэтиленовом.

Тетка посторонилась, чтобы пропустить меня, а потом громко объявила:

– Так... приготовиться Баранову!

В бассейн меня так и не записали. Тренер Ангелина Пална сказала, что я болтун.

– Нам здесь таких болтунов не надо! – добавила она строго. – У нас своих болтунов хватает.

Я сидел на низенькой длинной скамейке и дрожал от холода. Мокрый и почти голый. На мне были только синие плавки и резиновая шапочка. Незадолго до этого меня попросили проплыть несколько метров. Я проплыл. Потом вылез из бассейна и, увидев на скамейке своего одноклассника Андрея Ложечникова, подсел к нему. Мы стали тихонько разговаривать.

– Болтун! – подытожила Ангелина Пална. Она сунула мне в руки листок бумаги. – На вот! Отдай маме.

Это было медицинское направление в бассейн. На другой стороне в правом верхнем углу крупным почерком значилось: “НЕ ПОДХОДИТ”.

– Как “не подходит”?! Почему?! – закричала мама, когда я протянул ей листок. Я уже оделся, спустился вниз, и мы стояли в холле.

– Андрюша! – теребила меня мама. – Что значит “не подходит”? Ты спросил, почему?

Мне вдруг стало страшно и захотелось плакать.

– Почему?! – продолжала допытываться мама.

Я молчал.

– Андрюша! Я с тобой разговариваю или с кем? Что тебе сказали?

– Потому... что я... болтун... – выдавил я наконец.

– Что? – не поняла мама. – Глупости! Пойдем!

С этими словами она потащила меня за рукав к какому-то лысому мужчине-физкультурнику, который со скучающим видом сторожил все ту же стеклянную дверь.

– Да? Что у вас? – спросил он рассеянно.

– Вот! – сказала мама и сунула ему мою медицинскую справку. – Ребенок прекрасно плавает. С пяти лет. Мы каждый год ездим в Крым...

– Та-а-ак, – мужчина уткнулся в бумажку и прочитал вслух: – “Не подходит”. Гм... – Тут он на мгновение задумался, а потом вернул маме справку: – Да вы не волнуйтесь так, мамаша. Ничего страшного. Просто он нам не подошел. Видите, ребенок у вас слабенький, маленького роста. Нам такие не подходят. Ему надо побольше спортом заниматься, физкультурой...

– Но ведь... – тут мама наморщила лоб и заморгала. – Позвольте... Я ведь... собственно... его и привела сюда для этого... чтоб спортом заниматься.

Физкультурник улыбнулся и развел руками.

Так закончилась моя спортивная карьера. Едва успев начаться. Я остался слабым, худеньким, тщедушным. В восьмидесятые годы, когда в моде были бицепсы, трицепсы, а также Сталлоне и Шварценеггер в качестве убедительного приложения к ним, у меня появились серьезные комплексы. Одноклассники надо мной посмеивались. Потом мода изменилась. Но комплексы остались.

Недавно, проведя очередную пару в университете, я зашел в буфет. За крошечным столиком в углу сидели мои коллеги, Наталья Семеновна и Даша. Я кивнул им и встал в очередь.

– Андрей! – позвала меня Наталья Семеновна.

– Да, – повернулся я к ним.

– Мы с Дашей давно уже хотели сказать. Вам очень идет этот черный свитер. Вы в нем такой элегантный мужчина...

– Во мне мужского, Наталья Семеновна, – ответил я словами Розанова, – только брюки. Наталья Семеновна улыбнулась.

– Андрей напрашивается на комплимент, – кивнула она Даше. – А мы вот назло не будем делать ему комплименты. Правда, Даша?

– Не будем, – согласилась Даша.

– Кстати, Андрей, – продолжила Наталья Семеновна, – кокетство, действительно... как бы вам сказать... не совсем мужское качество... Лучше берите кофе и подсаживайтесь к нам.

Игрушки и череп

В 1976 году я вряд ли кому-то мог показаться элегантным мужчиной. Разве что бабушке. Бабушки всегда умиляются своим внукам. Старики и дети ведь очень похожи. Например, и тем и другим требуются игрушки. Разница лишь в том, что дети играют пластмассовыми игрушками, а старики ничего такого позволить себе не могут. Иначе их отправят в дом для маразматиков. Но играть все равно хочется. Поэтому пожилых людей чаще, чем молодых, назначают руководителями, директорами заводов, премьер-министрами, школьными учителями. В результате получается даже лучше, чем у детей. Интереснее. Ведь игрушки пожилых людей живые. Они ходят, бегают, разговаривают, смеются, плачут. Почти как настоящие пластмассовые.

У меня, как и у всех, было две бабушки. Так вот одна действительно мною умилялась. И даже привезла мне в подарок иностранных пластмассовых индейцев. Другая, напротив, с самого начала была невысокого мнения о моих умственных способностях. Когда мне было восемнадцать лет и я уже учился в университете, она все еще сомневалась, есть ли смысл посылать меня в магазин за хлебом. Вдруг я не справлюсь...

– Ты такой несобранный, – сетовала бабушка. – Бери пример со своей двоюродной сестры.

Тут же рядом стояла моя двоюродная сестра. Круглая отличница. Она заканчивала школу. Ее лицо выражало готовность сразу же действовать, если старшие чего-нибудь попросят. В свою очередь, моя физиономия ничего подобного не выражала. А если что-то и выражала, то как раз ровно обратное: готовность послать всех, особенно старших, в задницу.

– Какой же ты все-таки несобранный! – продолжала вздыхать бабушка. Это было совершеннейшей неправдой. В университете я проявлял “собранность”, какой мог позавидовать любой самый занудный отличник. А вот в школе все было действительно по-другому. Почему, я и сам не знаю.

Школа меня раздражала. Уроки казались скучными и тянулись до бесконечности. На переменах мне тоже не нравилось. Было слишком шумно. Когда вокруг тебя на протяжении двадцати минут все вопят, прыгают и толкаются, это очень утомительно.

– А ты дружи с тихими ребятами, – посоветовал мне папа, – с теми, кто хорошо себя ведет и хорошо учится. И тогда тебе в школе будет интересно.

Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, что папа лелеял эту мысль – ну, чтобы его сын общался только с отличниками, – еще когда я ходил в детский сад. Папино воображение, наверное, рисовало такую картину: его сын, школьник младших классов – естественно, круглый отличник, возвращается домой, делает уроки. Потом, ближе к вечеру, к нему (то есть ко мне) приходят в гости друзья, тоже отличники. Каждый в белой рубашке, в выглаженной школьной форме, и обязательно в сопровождении родителей, очень интеллигентных и милых. Папа нас рассаживает полукругом возле старенького проигрывателя, и мы все вместе начинаем слушать мазурки Шопена или что-нибудь в том же духе. Музыка нужно подобрать правильно.

Неприменно чтобы классический репертуар, но на первых порах не слишком сложный. Тут главное не перегнуть палку. Не Скрябин, не Шёнберг – семилетним детям может показаться скучновато, а именно Шопен. Шопен – это то, что нужно. В самый раз. Затем взрослые пойдут на кухню пить чай и вести серьезные разговоры, а дети предадутся невинным развлечениям: поиграют в шахматы или в лото.

Когда у меня появлялся приятель и я сообщал об этом родителям, отец непременно спрашивал, как он учится. Я старался уклониться от прямого ответа. Если выяснялось, что приятель учится хорошо, то папа очень сердился и говорил:

– Вот видишь! Мальчик хорошо учится! И родители, наверное, им довольны. Только вот ты у нас такой оболтус.

А если новый приятель учился средне, то папа сердился еще больше и кричал маме:

– Видишь, Верочка! Нет чтобы дружить с хорошими мальчиками. Так ведь специально выбирает каких-то двоечников и лодырей.

Папа вообще часто бывал мною недоволен. Причем по самым неожиданным поводам. Помню, как-то раз меня оставили дома одного. Я сидел за столом и играл. Игрушек было немного. Набор бабушкиных пластмассовых индейцев и две шеренги революционных матросов со штыками наперевес. Их мне подарила мама. По сюжету мои индейцы сидели в крепости, сделанной из иностранных пивных банок. Такие пивные банки в семидесятых годах были большой редкостью, и выбрасывать их никому не приходило в голову. Революционные матросы почему-то выступали у меня в роли колонизаторов. У них была задача взять крепость штурмом. Вариантов развития сюжета было несколько. Но, как правило, полуголые индейцы побеждали. Папа, кстати, всегда злился, когда я играл в индейцев и матросов, и кричал:

– Опять ты своих чертей выложил! Лучше бы делом занялся! Книжку почитал или музыку послушал. Мазурки Шопена...

Поэтому играть в индейцев я мог только когда находился дома один. Но это, слава богу, случалось не так уж редко. Мама и папа много работали.

И вот я в очередной раз остался дома наедине с индейцами, революционными матросами и пивными банками. Я еще тогда хотел пустить в дело рыцарскую дружину из игрушечного набора “Ледовое побоище”, который мне только что подарили. И пытался определиться, за кого же все-таки будут сражаться рыцари: за индейцев или за революционных матросов. Наконец, я решил, что рыцари – русская и немецкая дружина – вероломно нападут на тех и других, а индейцы и матросы в условиях новой опасности объединятся. И в тот момент, когда я выстроил дружину на обеденном столе в боевом порядке, раздался телефонный звонок.

Я снял трубку и услышал пожилой мужской голос:

– Попросите, пожалуйста, Веру!

– Мамы дома нет. Она в магазине, – ответил я и тут же вспомнил фразу, которой меня выучили: – А что ей передать?

– Передайте, – сказали мне, – что звонил Балашов. Из Москвы. По важному делу.

Вскоре с работы вернулся папа. К тому моменту я закончил играть и успел спрятать своих “чертей” в нижний ящик письменного стола. Индейцы и матросы, как и предполагалось изначально, победили.

– Где мама? – спросил он меня.

– В магазин ушла. Сказала, что в магазине на Тореза обещали выбросить кур по рубль семьдесят пять.

Я тогда плохо представлял себе, что такое “куры по рубль семьдесят пять” и чем они отличаются от других. Но догадывался, что раз у них такое длинное название, значит, это не простые куры, а какие-то особенно хорошие и за ними нужно долго стоять в очереди.

– Понятно... – сказал папа. – А ты тут чем занимался?

– Домашнюю работу делал, – соврал я. – Нам примеры задали. А еще маме звонили из Москвы...

– Из Москвы? Кто? – удивился папа.

– Звонил... – тут я собрался с мыслями, – Башколов.

Папа почему-то очень рассердился:

– Звонил Балашов! Слышишь! БА-ЛА-ШОВ! Николай Иванович Балашов. Член-корреспондент Академии наук... Понятно?! А “башколов” – это ты!

С этими словами он ушел на кухню курить, и наш разговор прервался.

Вероятно, папа уже тогда начинал понимать, что ему все сложнее влиять на ситуацию. Осуществление проекта детского музыкального салона явно откладывалось на неопределенное время. И все же отец лелеял надежду ввести меня в круг приличных детей.

– Тебе надо побольше общаться с отличниками, – твердил он мне.

– Они все девчонки, – оправдывался я. – Не могу же я дружить с девчонками!

– Ну с Настей Донцовой ты почему-то общаешься, – резонно возражал папа, – а она ведь отпетая троечница.

В Настю Донцову я был влюблен. Она была похожа на актрису Белохвостикову. Тоненькая девочка. Круглое лицо. Большие испуганные глаза. Очень красивые, голубые. Прямые длинные волосы. Мы жили в соседних домах, часто возвращались из школы вместе и ходили друг к другу в гости. На дне рождения Насти из всех гостей я был единственным мальчиком. Остальные были девочки. Привели еще какого-то Вадика. Но он был сыном знакомых Настиной мамы. Когда мы маленькие, такие вот “вадики” неизбежны на наших днях рождения. Вадик сидел на противоположном от меня конце стола и исподлобья на всех смотрел. Внешность его я не запомнил. Помню только белёсые редкие брови на круглом лице. В какой-то момент он подсел ко мне и стал хвастаться, что родители купили ему новый велосипед. Я ему в ответ сказал, что у меня тоже есть велосипед. Вадик задумался и стал ковыряться в носу указательным пальцем. Я на всякий случай от него отодвинулся. Вообще тот день рождения был скучным. Настины родители затеяли детский концерт и заставляли нас читать вслух школьные стихи. Я застенялся и стал упрямо отказываться. Настины родители мне не нравились. Они явно не одобряли нашей с Настей дружбы. Видимо, им казалось, что их дочь достойна мальчика, у которого успеваемость по основным предметом выше, чем у меня. Мой папа, кстати, тоже не был в восторге. Но он понимал, что сердцу не прикажешь и давить на меня не стоит. Настя... ну и бог с ней. В конце концов, с годами найдет себе девочку поумнее, из профессорской семьи. Будут вместе в филармонию ходить. Шопена слушать. А товарищи – дело другое. Тут следует проявить твердость.

– Ты бы очень порадовал отца, – сказал он мне как-то раз за обедом, – если бы подружился с Алёшей Петренко. Верочка! – повернулся он к маме. – Они тут с Алёшей листики собирали на остановке. Я наглядеться не мог! Два таких чудных мальчика!

Лёша Петренко был круглым отличником, и с первого класса его фотография висела на школьной доске почета. “Собирали листики...” Эти дурацкие “листки” папа вспоминал потом целый год. В тот день он забирал меня из школы. На трамвайной остановке мы встретили Лёшу Петренко и его маму, пожилую даму в демисезонном пальто и с выражением вдохновенной скуки на лице. Стоял теплый октябрь. Трамвая долго не было. Взрослые завели о чем-то разговор, а нас с Лёшей предоставили друг другу.

Лёшина мама сказала:

– Пока трамвая вроде не видно, идите, дети, вон к тем деревьям и поиграйте.

– Во что поиграть? – с готовностью спросил Лёша.

– Ну, листики пособирайте. Вон они какие красивые – желтенькие, красные. Помнишь, Алёша, мы стихотворение наизусть учили про золотую осень? Бегите, ребятки, посоревнуйтесь, кто первый соберет самый красивый букет.

Если бы в тот момент рядом был Витя Андреев или Вадик Кириллов из моего класса, мы бы нашли чем заняться. Мы бы в пятнашки поиграли или желудями покидались. Но Лёша сразу же направился туда, куда сказали. Мне пришлось к нему присоединиться. И тоже подбирать с земли дурацкие желтые листья, чтобы порадовать папу. До сих пор вспоминаю выражение полнейшего счастья и безмятежности на его лице.

Но это был всего лишь эпизод. Потом я стал Лёшу старательно избегать. Лёша и сам не рвался ко мне в друзья: все-таки я числился среди троечников. Лёша меня раздражал. На уроках он сидел прямой, как палка, аккуратно сложив на парте руки, и глядел на учительницу круглыми немигающими глазами. У него была маленькая коротко стриженная голова и очень тонкая шея. Лёша чем-то напоминал череп, в который я играл, когда мне было три года. Но в сравнении с черепом он проигрывал. Этот череп хранился в зеленой коробке у бабушки. Его где-то достала моя тетя, художница, чтобы рисовать, как мне объяснили. Когда я приходил к бабушке, я первым делом шел в гостиную, где стояла зеленая коробка, доставал оттуда череп и начинал с ним играть.

– Череп, череп, – говорил я ему. – Здравствуй, дядя череп.

Я осторожно просовывал пальцы в пустые глазницы. Мне казалось, что череп меня понимает.

– Аля! – в сердцах кричала бабушка. – Сейчас же убери череп и перестань пугать ребенка!

Череп тут же отбирали, и я начинал плакать. Череп был гораздо лучше всяких там одноклассников. Особенно таких, как Лёша Петренко. Череп жил своей независимой жизнью. Он молчал, когда я с ним разговаривал, и внимательно слушал. А Лёша всякий раз принимался, не дослушав, визгливо хохотать. И мне совсем не хотелось с ним дружить.

Люди в голом и “гамма глобулина”

Одиноким человек совершенно незащищен. Одному нельзя никак. Надо, чтоб у тебя всегда кто-то был. Не обязательно человек. Достаточно какой-нибудь вещи. Но только, чтобы ее нельзя было куда-нибудь приспособить. Человек тебе совершенно ни к чему. Он говорит много, руками тебя как-то трогает. Вещь в этом смысле гораздо спокойнее. Лежит себе и лежит. Есть не просит. А один – это не тогда, когда людей рядом нет. Один – это когда у тебя ничего нет. Никаких вещей. Твоих вещей. У тебя есть школьная форма, ранец, пенал с карандашами, тетради, учебники. Учебники не твои, а библиотечные. В них строго-настрого запрещено рисовать.

Ты совершенно голый. Нудист на пляже тоже, конечно, голый. Но у него есть одежда. Она просто спрятана в рюкзаке на случай, если нудисту надоест показывать окружающим свои причиндалы. Или если нудист проголодается и пойдет домой обедать.

Одиноким человек совершенно незащищен. Особенно если это маленький человек. Маленький не в смысле Акакий Акакиевич, Описий Описиевич или Иван Денисыч. Маленький в том смысле, что ему всего семь лет, что он ребенок. Для маленького человека выставиться голым – позор. Это некрасиво и постыдно. Для взрослого, пусть ты даже трижды Акакий Акакиевич, – это художественная акция, перформанс. Гордость и красота.

Или трагедия.

Но обязательно красивая трагедия.

В середине 1970-х у моей мамы, когда она работала в Институте культуры, учился студент-вьетнамец. Тогда к нам часто приезжали молодые люди из стран дружества. Этот вьетнамец был писателем и однажды сочинил киносценарий. Там, по сюжету, американские военные ворвались в деревню и изнасиловали женщину, молодую мать. Муж, член коммунистической партии, в тот момент где-то героически сражался с оккупантами. Женщина не перенесла позора и удалилась в монастырь. Потом война кончилась, американцев прогнали. Муж

возвратился домой, а жены нет. Односельчане ему обо всем рассказали. Муж сначала пригрюнился, но потом взял себя в руки и отправился на поиски. Он объехал полстраны, пока, наконец, по счастливому стечению обстоятельств, не нашел свою жену в некоем монастыре. Женщина вышла к нему навстречу (тут, по сценарию, должна была звучать трогательная вьетнамская песня). Он обнял ее и уговорил вернуться. Сказал, что любит. И женщина в конце концов возвратилась к мужу, в семью, в работу.

Все это было изложено в виде сценария. Начинался он так:

Американские насильники насилуют вьетнамскую женщину в голом.

Женщина в голом зовет на помощь.

Подлые смехи.

Вьетнамцу накануне показывали альбом репродукций и научили выражениям “женщина в синем”, “женщина в черном”, “женщина в белом”. В самом деле, если есть “женщина в белом”, почему бы не быть “женщине в голом”?

И ничего смешного. “Женщина в голом”, которую насилуют американские насильники, – это трагедия. Особенно если рядом или где-то поблизости раздаются “подлые смехи”.

Трагедия, да. Но трагедия слишком красивая. Кстати, как потом стало известно, сценарий про “женщину в голом” вьетнамское руководство не утвердило. Видимо, в “женщине в голом” оно усмотрело что-то красиво-легкомысленное, то есть южновьетнамское, буржуазное, а стало быть, не совместимое с задачами социалистического строительства и заветами товарища Хо Ши Мина.

Семилетний “ребенок в голом” – это совершенно некрасиво, не легкомысленно и не буржуазно. Это стыд и позор.

Каждый год в школе перед первым сентября нас подвергали “медосмотру”. Заканчивался этот медосмотр унижительной для всякого ребенка процедурой. Медсестра заставляла нас ложиться на кушетку, животом вниз. Потом она стаскивала с лежащего ребенка трусы и колола ему в попу “гамму глобулина”. Это было не просто больно. Это было больно и одновременно позорно. Особенно когда медсестра стаскивала с тебя трусы, а потом отходила к медицинскому столику взять шприц. Ты лежал кверху попой, а на тебя глазели одноклассники, толпившиеся у входа в процедурную. Ты лежал совершенно голый (спущенные до колен трусы не в счет), беззащитный и одинокий. Ожидание укола, пока медсестра наполняла шприц возле столика, длилось целую вечность. Ты ощущал на себе, своей голой и позорной попой взгляды одноклассников.

Особенно девочек.

“ГАММА ГЛОБУЛИНА”. Когда я слышал это сочетание слов, одиночество казалось мне особенно непереносимым.

В результате у меня появился друг. Звали его Миша Старостин. Белобрысый худенький мальчик, небольшого роста. Очень шустрый и самостоятельный. Старостин часто получал двойки. Еще чаще, чем я. Просто потому, что его призвание было не учиться, а учить. Кстати, многие не понимают, как такое бывает.

Бывает, и еще как.

Вот возьмем, к примеру, меня. Я был абсолютно необучаем. Совсем как Миша Старостин. Неслучайно он стал моим другом. Сейчас, правда, я преподаю в университете. Я, бывший двоечник и “башколов”. Один раз какое-то существо, почти похожее на женщину, где-то публично высказалось в том смысле, что, мол, Аствацатурову напрасно разрешают преподавать “таким как мы” (как она, в смысле). Я ее однажды внимательно разглядел. И решил, что да, к “таким как она” меня действительно не стоит допускать. Карикатура в книжке – вещь

вполне приемлемая. Но когда природа пробует себя в этом жанре, тут уж не до смеха. Душа уходит в пятки.

И вот я преподаю литературу, читаю лекции.

А Старостин сидит в колонии строгого режима. Я часто задумывался, почему наши судьбы так по-разному сложились?

Один питерский искусствовед мне как-то признался:

– Я, между прочим, Андрюша, хорошо помню тебя маленьким. Тихим двенадцатилетним мальчиком в круглых очках с толстыми стеклами. И мне всегда казалось, что ты когда-нибудь попадешь в тюрьму.

Жизнь распорядилась иначе. Пока, во всяком случае, я на свободе. А Старостин в колонии. Очень странно. Оба мы были необучаемы. Учителя от рождения. Разница, видимо, заключалась в том, что Мише **ВООБЩЕ** не требовались наставники. Мне они тоже вроде бы не требовались. А вот Миша мне был необходим.

Я всего боялся. Боялся тех, кто сильнее меня (ими были почти все окружающие), боялся собак, боялся оказаться голым на кушетке, боялся “гаммы глобулина”. Старостин был физически слабее меня. Но он ничего не боялся. И никого. Даже хулиганов-силачей. Он от них, правда, всегда убегал. Но никогда их не боялся. Бегал Миша быстро. Оказавшись на безопасном расстоянии, он останавливался, поворачивался к своему врагу и начинал обзывать. Очень обидно и долго. До тех пор пока враг не выходил из себя и не бросался за ним вслед, размахивая кулаками. Тогда Миша снова пускался бежать и, увидев в какой-то момент, что враг опять далеко позади – устал и остановился отдышаться, опять принимался его дразнить. И так до бесконечности. В конце концов обессиленный драчун шел восвояси, а Миша Старостин следовал за ним, улюлюкая и призывая всех (даже если рядом никого не было) посмотреть на “этого говночиста”, который мало того что дурак, еще и бегать не умеет. Впрочем, иногда Мишу ловили и били. Он плакал, но все равно по привычке продолжал обзывать. Его снова били, но и это не помогало. Драчуны-старшеклассники предпочитали с Мишей не связываться. Себе дороже.

Я хотел стать таким, как Миша. Мы очень быстро ладили. Миша меня регулярно просвещал. В частности, мой словарь обогатился замечательным словом “жопа”. Не то чтобы я совсем не знал этого слова. У себя во дворе мне не раз приходилось его слышать. Но с появлением Миши Старостина оно стало для меня неотъемлемой частью повседневности.

На некоторых занятиях мы сидели за одной партой, и Миша постоянно открывал мне новые стороны жизни.

Однажды на уроке пения учительница сказала:

– А сегодня, дети, мы будем проходить гамму, до-мажорную гамму.

При этих словах Старостин толкнул меня в бок, многозначительно подмигнул и захихикал.

– Чего? – удивился я.

– Гамма... – Миша давился от хохота. – Слышал? Она сказала “гамма”. Гамма глобулина. **НОТКИ В ЖОПУ ВВОДЯТ!!!**

Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я бы не смог придумать ничего подобного. А тогда я легко представил себе эту картину. Представил и от неожиданности громко расхохотался. После чего нас обоих выставили из класса.

Ленин и скелеты

На уроках по чтению ни я, ни он не отвлекались. Старостин учил меня рисовать скелеты и гробы. С гробами все было просто. А вот скелеты поначалу не получались. Особенно их кости, заканчивающиеся с двух сторон сложными закруглениями. Скелеты были разными. Один с

любопытством высовывался из своего гроба. Другой сидел за рулем автомобиля. Третий стоял возле дома на посту. Мы старались фантазировать. Я даже нарисовал целую семью скелетов: большие скелеты, папа и мама, держат за руки маленьких скелетиков, детей. Старостин, увидев это, тут же забрал у меня листок бумаги и пририсовал еще пару понурившихся, сгорбленных скелетов, опирающихся на палочки. “Бабушка” и “дедушка”.

Помню, на одном из уроков учительница Валентина Степановна вслух читала нам стихотворение о Ленине:

Вверх идут ступени.
В доме тишина.
Здесь работал Ленин,
Сидя у окна.

Приоткрыты шторы.
И видны вдали
Светлые просторы,
Даль родной земли.

Дальше я уже не помню. Кажется, в стихотворении перечислялось, *что* собственно Ленин видел сквозь приоткрытые шторы и о чем мечтал. Видел он пашни, избы деревень, заводы, естественно, видел грядущий день. И даже видел, как мчится к звездам человек. В конце автор перекидывал мостик в сегодняшний день:

Видел путь народа
С ясною судьбой.
Все, что в наши годы
Видим мы с тобой.

Валентина Степановна закончила читать, отложила книгу и сказала:

– А теперь, дети, прочитайте стихотворение несколько раз про себя. И подумайте о том, что хотел сказать автор.

Стихотворение мне понравилось. Только финал немного настораживал. Отдавал какой-то школьной назидательностью. Автор словно говорил: “Видишь, как все хорошо? И ты тоже, давай, не подводи. Учись на «пятерки». Раньше-то, при царе, как было? То-то...”

Кроме того, не было поставлено конкретных целей. Вроде как мы все видим, чего хотели. Значит, мечты сбылись? Ничего уже нового не нафантазировать? А начиналось как хорошо! Сидит Ленин у окна. Закрыв глаза и мечтает. Представил себе пашни, избы, Юрия Гагарина в ракете. Здорово! И никто не скажет: “Хватит ворон считать! Садись лучше за уроки! А то двоек нахватаешь!” Потому что это Ленин. Эх, жаль, что я тогда не жил, когда был Ленин. Мы бы сели, помечтали...

– Андрюха! – позвал меня Старостин. – Это ведь про скелетов стихотворение.

– Чего? – удивился я.

– Смотри. Вверх идут скелеты, в доме тишина, здесь работал Ленин, сидя у окна. Ты представляешь? Сидит на втором этаже, – тут его голос стал тише, – Владимир Ильич Ленин. А к нему по лестнице поднимаются скелеты. Хрусть-хрусть.

Тут Старостин пару раз дернул плечами вверх-вниз, изображая, как скелеты поднимаются к Ленину. Я захихикал. В моем сознании Ленин никак не вязался со скелетами. Скелеты – это глупость, баловство. Зачем им подниматься к Ленину? Что они ему скажут? Ленин – дело серьезное... наш советский идеал. С этим не шутят.

– Хрусть-хрусть, – Старостин тем временем продолжал изображать скелетов.

– Старостин! – крикнула учительница. – Сейчас же выйди из класса! Весь уже искривлялся! И ты, Аствацатуров, у меня дождешься!

Стихотворение нам задали выучить наизусть. На следующий день на уроке каждый по очереди выходил к доске и громким голосом его читал. Всякий раз Старостин толкал меня под парту ногой и показывал плечами: хрусть-хрусть.

Я вспоминал про Ленина, потом про совершенно неуместные в его доме скелеты, и мне становилось смешно.

Спустя месяц весь наш класс повели в музей Ленина на Болотной улице, рядом с нашей школой. Это был старый финский дом. Он и сейчас там стоит. Точнее, не дом, а деревянный домик. Что-то вроде дачи. Между прочим, в этом доме состоялось историческое заседание ЦК ВКП(б), где было принято решение штурмовать Зимний.

Мы вошли внутрь, сдали в гардероб пальто, и тут пришла экскурсовод – тетка средних лет – и повела нас смотреть комнаты. Она что-то говорила. Очень много говорила. Я не слушал. Стоял, о чем-то думал. Смотрел по сторонам. На стене фотографии: Ленин в кругу соратников. У стен – стенды: там какие-то раскрытые книги, газеты и даже фотографии. Старая мебель. Лампа, чайник – таких уже не делают. Вспомнил стихи Сергея Михалкова:

Уж в этом чайнике нельзя,
Наверно, воду греть.
Но как нам хочется, друзья,
На чайник посмотреть.

Мне стало стыдно. Потому что смотреть на чайник совершенно не хотелось. Экскурсия тем временем продолжалась. Мы зашли в очередную комнату. В углу была видна небольшая лестница. Она закруглялась и вела куда-то на второй этаж. Проход на лестницу был перегороден двумя стойками с красной веревкой.

Тетка-экскурсовод встала спиной к веревке, подождала, пока мы все зайдем в комнату, и произнесла:

– Всем вам, конечно, известно стихотворение... – тут она выдержала паузу и начала декламировать:

Вверх идут ступени,
В доме тишина.
Здесь работал Ленин,
Сидя у окна.

Я поискал глазами Старостина. Он стоял где-то слева. На его физиономии сияла счастливая улыбка. Поймав мой взгляд, он подмигнул мне и принялся дергать плечами. Руки его при этом болтались как плети. Старостин беззвучно шевелил губами: хрусть-хрусть.

Вот, значит, по какой лестнице к Ленину ходили скелеты...

Я представил себе, как скелеты, один за другим, переставляя костяные конечности, поднимаются по ступенькам наверх, к Ильичу, и меня стал разбирать смех. Когда вокруг торжественная обстановка и нельзя смеяться, от этого делается еще смешнее. Я прикрыл рот ладонью, но смех стал просачиваться сквозь пальцы похрюкиванием, постепенно набирающим громкость. Тетка-экскурсовод ничего не замечала, но одноклассники стали на меня оглядываться. Я делал героические попытки побороть смех.

И тут сзади раздался грохот. Кто-то из девочек громко взвизгнула. Я обернулся и увидел, что наш отличник Лёша Петренко лежит на полу, рядом с ним – октябрятское знамя, а одно-

классники столпились вокруг и пытаются привести его в чувство. Лёше как самому достойному доверили знамя нашего октябрятского отряда. И еще пять минут назад он стоял с этим знаменем, глядя, по своему обыкновению, прямо перед собой. Видимо, он не выдержал духоты и грохнулся в обморок. В комнатах музея на зиму законопатили окна и было очень жарко.

Интересно, что тетка-экскурсовод даже бровью не повела, как будто ничего не случилось. Она спокойно дочитала стихотворение, обстоятельно и с выражением. Потом, правда, сказала:

– Посадите, ребята, мальчика на стул. Пусть тут посидит. А мы пока продолжим осмотр экспозиции. Не будем задерживаться. Через десять минут придет следующая группа.

Откуда берется навоз

Прошло три месяца. Наступил теплый май 1977 года. Мы, первоклассники, радовались скорому приближению лета и предстоящим долгим каникулам.

– Лето, – наставляла нас Валентина Степановна на последних уроках, – нужно провести с пользой. Вот вы летом будете отдыхать. А для других это время года – пора тяжелого труда. Например для трудящихся наших колхозов и совхозов. У них много работы. Кто знает, чем колхозники занимаются летом?

Витя Андреев поднял руку. Витя был двоечник и всегда молчал. Поэтому Валентина Степановна обрадовалась:

– Андреев?

Витя вышел из-за парты, собрался с мыслями и произнес:

– Летом колхозники и совхозники собирают урожай.

Валентина Степановна рассердилась.

– Какие еще “совхозники”?! Нет такого слова в русском языке! И урожай не собирают летом. Дети! Когда у нас собирают урожай?

– Осенью! – выкрикнула отличница Оля Семичастных.

– Правильно, осенью, – похвалила Валентина Степановна. – Молодец, Оленька, – и тут же бросила на Андреева гневный взгляд: – Садись, Андреев. Дети! Оля правильно сказала. Урожай собирают осенью. А летом колхозники и колхозницы сгребают сено в стога, чтобы оно сушилось, и заготавливают удобрения, навоз. А что такое навоз?

Все растерялись. Я понимал, что значит слово “навоз”, но поднять руку не решался. Все синонимы этого слова казались мне неприличными. Одноклассники тоже хранили молчание.

Миша Старостин ухмыльнулся, подмигнул мне и поднял руку. Валентина Степановна вспыхнула:

– Опусть сейчас же руку, Старостин!

– А что?

– Ничего! Говорят тебе, опусти руку! Пусть Лёша Петренко нам скажет, что такое “навоз”.

Отличник Лёша Петренко поднялся и, весь красный, запинаясь, произнес:

– Навоз – это такие какашки!

Мы все захохотали. Лёша пытался дальше говорить, но его слова потонули в нашем гоготе.

– А ну тихо! – одернула нас Валентина Степановна. – Ничего смешного. Продолжай, Алёша! Все правильно.

– Навоз дают животные, – сказал Лёша. – А колхозники используют его для того, чтобы удобрять поля.

Валентина Степановна посадила Лёшу на место и начала что-то говорить уже сама, но я ее не слушал. Я повернулся к Старостину.

– Мишка! Слушай... я не понял, как его заготавливают.

- Кого?
- Ну... навоз.
- Навоз – это говно! – уверенно сказал Старостин. – Говнецо... Так у нас во дворе говорят.
- Это я и без тебя знаю.
- Ну?
- А как его заготавливают?
- Не знаю... – тут Старостин задумался. – Ты сдавал анализ кала перед первым сентября?
- Сдавал.
- Наверное, так же и в колхозе. Сидят на унитазах целыми днями летом. Не все, конечно. А только специальные люди. Жирные. Вроде нашей Степановны. Сидят и какают. Только воду не спускают. Потом у каждого собирается целая коробка. Они ее вываливают в общую кучу, и на самосвал...
- Пока я слушал Старостина, воображение рисовало мне очень странное зрелище сидящих в ряд на унитазах колхозников со спущенными штанами. Эта картина мне показалась сомнительной. Колхозы (нам об этом говорили) – это флагманы коммунизма. И сидеть на горшке целый день – это неправильно, не по-ленински. Я решил поделиться своими сомнениями со Старостиным.
- Мишка?
- Ну что?
- А чего это Петренко про животных сказал? Что это они дают навоз.
- Петренко – дурак! – разозлился Старостин. – Ну как животные могут что-то давать? У них ведь рук нет, и они глупые.

Снова “люди в голом”

В таком духе Старостин просвещал меня весь следующий год. Пролетел второй класс. Третий. Нас приняли в пионеры. Начался четвертый.

Как-то на перемене Миша отозвал меня в сторону. Я с неохотой подошел. К тому времени он стал мне немного надоедать. Я не знаю, почему. У него появились какие-то новые друзья во дворе. Миша мне о них постоянно рассказывал, и мне было очень скучно. Кроме того, Миша стал общаться с другими одноклассниками. Пытался их просвещать на свой лад, чего делать, конечно, не следовало.

– Чего звал? – спросил я его.

Оглянувшись по сторонам, Миша полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда стопку черно-белых фотографий, небольших по размеру.

– Зырь сюда!

На первой фотографии я увидел улыбающуюся голую женщину. На следующей – еще одну. На других оказались и женщины, и мужчины, тоже совсем голые. Они обнимались, стояли, сидели, лежали в разных позах. У всех были радостные лица.

Фотографии не произвели на меня особого впечатления. У нас дома было много толстых альбомов с репродукциями, на которых попадались голые люди. В основном почему-то женщины. И еще в Эрмитаже мне показывали статуи древнегреческих богов, богинь и героев, изображенных абсолютно голыми. Я тогда спросил взрослых, почему в древней Греции все так ходили. И мне объяснили, что в Древней Греции было очень жарко и одежды не требовалось. Так что Миша в тот раз ничего нового мне не открыл. К тому же люди на его фотографиях мне показались не очень красивыми. Впрочем, их радостные лица полностью компенсировали

в моем представлении этот недостаток. Раз они улыбаются, радуются, думал я, значит это – хорошие, добрые люди. И не важно, что голые. Никому ничего плохого ведь они не сделают.

– Ну как тебе?

Я пожал плечами:

– Так себе...

Тут прозвенел звонок. Миша сунул фотографии в карман, мы побежали на урок, и я тут же забыл об этих картинках.

Дня через три моей маме позвонила наша классная руководительница и сказала, что в классе произошло “чепэ” и что маме нужно в ближайший четверг прийти на внеочередное родительское собрание.

Мама не на шутку встревожилась. Повесив трубку, она тут же позвала меня. Я в этот момент сидел на кухне и слушал радио.

– Андрюша! Иди-ка сюда!

Я поднялся и зашел в комнату.

– Что там у вас в школе произошло?

“Тебе не все равно?” – подумал я. К четвертому году школа так мне надоела, что я старался не думать о ней хотя бы дома. Но ничего не получалось. Едва я переступал порог нашей квартиры, меня тут же с пристрастием допрашивали о том, “что было в школе”. Я обычно отмалчивался или старался отвечать односложно.

– Тебе не все равно? – спросил я маму.

– Не смей дерзить! – крикнула мама. – Вот папа вернется...

Такой поворот дел меня никак не устраивал, поэтому я решил пойти на мелкие уступки и всем видом выразил готовность отвечать.

– Я спрашиваю, что случилось в школе? – повторила она сухо.

Я понятия не имел, что ей нужно:

– Не знаю...

– Вы опять нахулиганили?

– Нет...

– Тогда что случилось? Почему мне звонит Клавдия Васильевна?

– Не знаю...

– Ладно, – сказала мама. – В четверг все сама выясню.

Наступил четверг.

Я вернулся из школы, пообедал и сделал уроки. Потом я планировал посмотреть мультики по телевизору, но папа усадил меня играть с ним в шахматы. Эту игру я ненавидел.

Скоро раздался звонок в дверь. Я открыл. Вошла мама с тяжелыми сумками.

– В магазин заскочила, – сказала она и, снимая сапоги, добавила: – Была я на этом родительском собрании... Скажи-ка, Миша Старостин тебе ничего не показывал?

– Нет...

– Фотографии какие-нибудь?

– Что за фотографии? – вмешался папа. И тут я вспомнил:

– Вообще-то показывал. Ерунда это...

Воцарилось молчание. Я понял, что мама ждет от меня еще каких-нибудь слов.

– О чем вообще речь? – снова вмешался папа.

– Представляешь, Лёня, – мама вдруг заговорила очень торопливо и сбивчиво. – Представляешь... Старостин, хулиган этот, принес в школу, – тут она понизила голос, – порнографию. Настоящую. Принес и стал показывать ребятам. Дети дома рассказали родителям, и те сразу побежали в школу к Клавдии Васильевне жаловаться. Мама Бори Анисимова заявила, что ее Боря пришел из школы и заявил, будто Миша показал ему “мужские” и “женские” фотографии. То же самое Саша Гурьев и Антон Скачков. И другие... Все мамы встают и возмуща-

ются. Просят принять меры. Меня спрашивают: “Верочка! Вам Андрюша что-нибудь рассказывал?” А я сижу, как дура, и ничего понять не могу. Начинаю что-то мямлить. Говорю, что первый раз слышу... А мне мама Оли Семичастных заявляет: “Старостин всем показывал эти карточки. И Андрею тоже. Они ведь друзья... Этот Старостин и ваш...”

Пока она говорила, отец смотрел на меня с интересом и даже, как мне показалось, с некоторым уважением. Потом он остановил маму:

– Ладно, Верочка, не заводишь! Ну и гусь у нас вырос. Болтун болтуном. А когда надо, клещами из него ничего не вытянешь. Давай садись, в шахматы доиграем.

– Подожди ты со своими шахматами, – не сдавалась мама. – Тут серьезное дело... Пойдем на кухню.

Они заперлись на кухне и долго о чем-то спорили. Я включил телевизор и стал смотреть мультики.

Пионерское собрание

На следующей неделе в классе состоялось заседание совета отряда, на котором открытым голосованием Старостина исключили из пионеров. Я был единственный, кто воздержался. Накануне я подговорил Мишу прийти на собрание без галстука.

– Это ты здорово придумал, – ухмыльнулся Старостин. – Скажут: “Снимай галстук”. А галстука и нет! Пионерчики-то наши от злости обдрищутся.

Этого слова я раньше не слышал, но оно мне очень понравилось. Я его запомнил, а потом стал часто повторять. И недавно научил этому слову и его разным формам нежного и утонченного Дениса Соловьева.

– Паша! Сдристни отсюда! – приказал как-то Соловьев своему коту Павлику, который внезапно вскочил на обеденный стол.

Мы сидели на кухне и пили кофе: Соловьев, художница Зоя Черкасская и я.

– Андрюша! – с деланной строгостью сказала мне Зоя (Зоя вообще многое мне прощает). – Зачем ты научил Денисика этому слову? Он теперь все время им Павлика обзывает.

– Зоинька! – оправдывался Соловьев. – Я же не виноват, что Павлик вежливых слов не понимает.

– Павлик! – позвала Зоя. – Иди ко мне, мой маленький. Не любят тебя!

Павлик, которого Соловьев уже столкнул на пол, подошел к Зое и стал тереться об ее ноги.

Как видите, Мишины урокигодились не только мне. А тогда, двадцать пять лет назад, он, по моему совету, пришел на собрание без пионерского галстука. И когда Оля Семичастных торжественно сказала: “Сдай галстук”, – выяснилось, что сдавать нечего.

– Тогда пусть Старостин значок сдаст! – нашлась Оля. Пионерский значок Миша и в самом деле забыл отцепить.

– Отдай нам его! – велела Оля.

– Не ты его покупала, шкура! – вдруг обозлился Старостин.

– Старостин! – вмешалась учительница. – Делай, как говорят!

Миша заколебался, а потом сказал:

– Ладно... Но я его отдам Аствацатурову. Пусть у него хранится, пока меня не примут обратно.

Обратно Мишу уже не приняли. Кстати, моей преданности ему, проявленной на пионерском собрании, хватило ненадолго. В глубине души я не мог простить Мише, что самым сокровенным он поделился со всеми. Он должен был показать эти фотографии только мне. Расхвастался перед всеми, думал я злорадно, так тебе и надо.

Я уже устал от Старостина, и мне хотелось чего-нибудь нового. И тут в моей жизни появился другой человек, Алик Новиков. Он спекулировал почтовыми марками и заграничными открытками, на которых были изображены полуголые звезды зарубежной эстрады. И Миша оказался в тени.

Потом Старостина поставили на учет в детской комнате милиции за крупное хулиганство. Он перевелся в другую школу. Там произошло что-то очень серьезное, после чего он оказался уже в колонии, откуда даже написал письмо нашей первой учительнице Валентине Степановне. Я иногда вспоминаю Мишу Старостина, когда выпью. Но пью я теперь очень редко. У меня от алкоголя голова болит.

Профессора и студенты

Когда я учился в школе, а учился я плохо, мне папа часто говорил:

– Будешь так дальше учиться – отдадим тебя в пастухи. Придется тебе волам хвосты крутить, у быка в жопе ковыряться.

Такая перспектива меня совершенно не устраивала, но в школе я все равно учился плохо.

Честно говоря, я и в детском саду не блистал. Воспитательница Клавдия Степанна всегда ставила мне в пример упитанного розовощекого мальчика по имени Антон Коптюк.

Антон Коптюк быстрее всех съел кашу, Антон Коптюк выучил стихотворение о Ленине, Антон Коптюк починил пластмассовый обруч, дома у Антона Коптюка живет хомячок, о котором Антон Коптюк заботится, брат Антона Коптюка подарил детскому саду два резиновых мяча. А что сделал ты?

Мне оставалось только скукоживаться под строгим взглядом воспитательницы.

Я чувствовал себя виноватым.

Каша мне не нравилась. Стихи о Ленине меня не интересовали, равно как и пластмассовые обручи. Хомячков я ненавидел. Да и самого Антона Коптюка я в глубине души считал дураком.

Все мои мысли тогда занимала девочка Наташа Тарасова, которой я на 8 Марта подарил пластмассового пуделя. Но любил я по-настоящему только певицу Таисью Калинченко.

Интерес к Наташе Тарасовой сделал меня на два месяца очень рассеянным и нескладным.

Но ковыряться у быка в жопе мне так и не пришлось, поскольку в пастухи меня все равно не отдали.

Да и кто бы меня туда взял с моим-то пятым пунктом?

Где вы видели еврея-пастуха? Только если в Библии.

В итоге я оказался на филологическом факультете Ленинградского университета.

Попасть туда в 1986 году для еврея было так же непросто, как и в пастухи.

Но со второй попытки у меня все получилось.

В университете я учился хорошо: видимо, папины угрозы сыграли здесь какую-то роль. Я начал думать, размышлять, чего прежде никогда не делал.

Преподаватели мне нравились. Особенно пожилые профессора. В костюмах и в галстуках. Иногда в свитерах – это те, кто помоложе. От них веяло неотмирной библейской мудростью и академическими идеалами. Студенты рядом с ними казались глупыми и неуместными. Но только на первый взгляд.

Я как-то стал свидетелем беседы моего учителя, известного филолога Захара Исааковича Плавскина, с одной девушкой, которая явилась к нему на экзамен в открытом платье: с голой спиной и глубоким декольте. Ну, чтоб произвести впечатление и сделать пожилого профессора более внимательным к ее внешности и менее сосредоточенным на экзаменационном вопросе. Так девушки всегда поступают. И мне очень жаль их. Ничто не выглядит таким беспомощным

и беззащитным, как полуголое женское тело. Агрессивное и напряженное. Но беспомощность и беззащитность тут же превращается в оболочку силы и агрессии. Порочный круг, из которого мужчине никогда не вырваться. Проще отвести глаза и подумать о чем-нибудь постороннем. Например, о черном шекспировском ревнивце, задушившем свою Дездемону. Девушке, как сейчас помню, достался “Отелло”.

– “Отелло” читали? – спросил Плавский.

– Читала...

– Как-то неуверенно вы это говорите. А скажите, кто Отелло был по национальности?

– Как это “кто”? – поразилась студентка. – Известно кто. Англичанин!

Плавский тяжело вздохнул и укоризненно произнес:

– Девушка! Вы ведь не читали. Скажите честно.

– Почему? Я это... читала там всё.

– Читали, говорите, а сами даже названия не помните!

– Название – “Отелло”, – пожала плечами девушка.

– “Отелло, мавр венецианский”! – с некоторым напором сказал Плавский и повторил для пущей убедительности: – Мавр венецианский!

– Ох, извините, – кокетливо улыбнулась девушка. – Поторопилась. Отелло – итальянец. Конечно же, итальянец. Раз из Венеции.

– Это еще что, – сказал мне Плавский, когда за девушкой закрылась дверь аудитории. – Вот у меня была другая история...

В “другой истории” фигурировал уже Данте. Плавский пересказал мне ее во всех мельчайших подробностях.

История с Данте произошла в начале 1950-х годов. Плавский, еще молодой ассистент кафедры истории зарубежных литератур, принимал экзамен по курсу “История литературы Средних веков и Возрождения”. К нему сел отвечать студент. Студент назвал вопрос билета – “Данте” – и замолчал.

– Вы, товарищ, вопрос знаете? – терпеливо спросил Плавский.

– Знаю.

– Тогда рассказывайте.

– Чего рассказывать? – удивился студент.

– Как “чего”? – в свою очередь удивился Плавский, уже теряя терпение. – Вопрос рассказывайте. Вы читали Данте?

– Читал. Просто не знаю, чего про него можно рассказывать.

Надо заметить, что Захар Исаакович Плавский был человеком редкой доброты. И на экзаменах всегда отличался удивительным либерализмом. Он обычно сам подсказывал студентам даты и имена, задавал им наводящие вопросы, и в итоге они уходили от него довольные, счастливые, с оценками “отлично” или, в крайнем случае, “хорошо”.

– Ладно, – кивнул он студенту. – Я вам буду задавать вопросы, а вы мне отвечайте. Договорились?

Студент в ответ грустно тряхнул головой.

– Скажите, – начал Плавский, – кого Данте поместил в последний круг Ада?

(Как известно, это были предатели: Иуда, Брут и Кассий.)

– Вот этого я как раз не знаю, – сразу же бодрым голосом ответил студент, давая понять, что все остальное он, конечно же, знает, а вот именно этот, так сказать, “фактик” как раз из виду и упустил.

– Хорошо, – вздохнул Плавский. – Я вам скажу, кого он туда поместил, а вы мне ответите, за что. Он туда поместил, во-первых, Иуду. Почему именно его, Иуду?

Студент ненадолго задумался. Потом судорожно сглотнул слюну и как-то весь подобрался. Покосившись с опаской на семитский нос Плавскина, он произнес как бы в сторону, полупшепотом:

– Потому что Иуда был еврей!

– Что? – переспросил Плавский. – Простите, кто был еврей? Я не расслышал...

– Евреем был Иуда! – сказал студент. Теперь уже уверенно и громко. – За это его Данте и поместил в Ад. Ну, за то, что он еврей.

Плавский едва не лишился дара речи. Или сделал вид, что едва не лишился. Это скорее всего. Профессора, особенно в российских вузах, убеждают всех и самих себя в первую очередь, что если кто-то не соответствует университетским идеалам и стандартам, то это вопиющее незаконнорожденное недоразумение. А зря. Человек ведь тем и интересен, что он непредсказуем, что он уклоняется от всех стандартов и предписаний. Что он сам по себе. Что он одинокий, голый, бесприютный на голой земле, равный самому себе. И живущий без оглядки на какого-то там Данте.

Но вот Плавский пришел в себя, шумно выдохнул воздух и сказал:

– Молодой человек! Да будет вам известно, что Христос тоже был евреем... Некоторым, знаете ли, образом. А его Данте в Ад почему-то не поместил. Странно, правда?

– Ну, тогда я не знаю, – буркнул студент. – Других причин вроде нет.

– Как нет?! Иуда ведь Христа предал!

– Да вы что?! – вскрикнул студент. – Самого Христа? Точно! Иуда! Я вспомнил. Мне бабушка в детстве рассказывала. Иуда, да. Он самый! Вот свол... Извините, профессор, – поправился он, – не сдержался... Я, честно говоря, забыл. Уж простите...

Студент этот был абсолютно искренен. Плавский поставил ему “удовлетворительно”, но посоветовал все-таки подумать о том, чтобы сменить специальность.

Публичная библиотека

С третьего курса я приучил себя ходить в Публичную библиотеку.

Первое время я чувствовал там себя неловко. Окружающие, все до единого, казались мне серьезными учеными.

Не чета мне, ничтожному студентушке, незаконно проникшему в их святая святых.

Я даже стеснялся ходить в буфет, полагая, что на эту вольность имеют право только НАСТОЯЩИЕ читатели библиотеки. Потом я как-то освоился. Прошли месяцы, и научные залы Публичной библиотеки, равно как и их обитатели, утратили в моих глазах священную ауру.

Выяснилось, что среди читателей много очень странных людей.

Некоторые вели себя агрессивно. То и дело вскрикивали над книгами или начинали громко разговаривать сами с собой.

Другие нервно ходили по коридорам библиотеки и ожесточенно жестикулировали.

Появлялся какой-то дедуля, с головой, вечно прижатой к груди. Витя Андреев мне однажды сообщил, что у этого дедули кличка Пингвин. Пингвин ходил подпрыгивающей походкой, блаженно улыбался, шмыгал носом, а когда садился за книги, тут же засыпал и начинал громко храпеть.

Появлялись и убеленные сединами старые ловеласы. Они приходили в библиотеку исключительно за тем, чтобы поглазеть на ученых девиц. Эти редко сидели в читальных залах: основное время они проводили в курилке, в буфете, иногда – в столовой.

Одного из них я запомнил. Он обладал внешностью отставного актера больших и малых театров: двубортный костюм с бабочкой, высокий лоб, седая шевелюра, поставленный голос.

Как-то раз мы стояли в курилке с моим приятелем Аркашей Баренбаумом.

Курили и разговаривали о Мишеле Фуко. Говорил, в основном, Аркаша, я же почти-тельно слушал.

В какой-то момент дверь открыли, и в нее просунулась голова этого седовласого “актера”.

Его глаза придирчиво обшарили помещение. Кроме нас с Аркашей, там находились еще две пожилые дамы.

Не найдя объекта, достойного внимания, седовласый убрал голову и закрыл за собой дверь.

– Видал этого типа? – спросил я Аркашу, который с исторических концепций Фуко уже постепенно переключился на психоанализ Лакана.

– Какого типа? – встрепенулся Аркаша. – Я никого не заметил.

– Да ходит тут один, – проворчал я. – Люди наукой занимаются, а он, старый мудак, девиц клеит.

Аркаша внимательно посмотрел на меня. Потом поднял указательный палец и назидательно сказал:

– Бьет копытом,
Землю роет
Пожилый
Сперматозоид...

Говорят, эти стихи написал один известный филолог. Возможно, он имел в виду вовсе даже не актеров, а пожилых деятелей науки.

Анализ мочи

Кстати, о пожилых деятелях науки...

В университетские годы я все чаще стал замечать, что студенты на самом деле гораздо дисциплинированнее своих преподавателей. В самом деле, обнаженный человек, равный себе, которому не на что уповать, готов принимать смелые, неожиданные и ответственные решения. А вот профессор, пребывающий в плену идеалов и беспечно полагающийся на свою книжную мудрость, напротив, внутренне разболтан и легкомыслен.

В особенности когда дело касается серьезных жизненных проблем.

Опыт показывает нам, что транспортировка важного продукта человеческой жизнедеятельности, мочи – мероприятие крайне трудоемкое. Иногда оно приводит к сложнейшим психологическим конфликтам. Это довелось испытать моему приятелю Олегу Табонину. Сейчас он известный филолог, профессор, живет за границей. А в восьмидесятые Олег был юным студентом и учился в университете небольшого эстонского городка. Когда Олег поступил на третий курс, его, как и всех остальных, обязали пройти медосмотр. Померить рост, проверить зрение и т. д., а также сдать анализ мочи. Если студент не имел справки о том, что он “сдал мочу”, его на четвертый курс не переводили. Кстати, без такой справки не брали и на работу. В период развитого социализма было так: сдал мочу – значит, получил пропуск в большой мир. Не сдал – пеняй на себя.

Мой научный руководитель Александр Анатольевич Чамеев в 1990 году подавал заявление на должность доцента в один гуманитарный питерский вуз. Он подготовил разные бумаги: дипломы, подтверждающие его научную степень и звание, список публикаций, трудовую книжку и медкарту. И принес все это в какую-то административную комнату. Там сидела очкастая секретарша, похожая, как рассказывали присутствовавшие при этой сцене, на мужчину средних лет. Она безглаголиво приняла у Чамеева папку, достала оттуда бумаги и приня-

лась их перебирать. В какой-то момент, не поднимая головы, она устремила на Чамеева поверх очков тяжелый взгляд и ледяным тоном спросила:

– А где анализ мочи? Сдавали?

– Нет, – растерялся Чамеев. – Я думал...

– Вы думали! – перебила его секретарь. – Доцентом вот хотите работать, а мочу не сдали!

– Да уж какой из меня доцент, если я мочу не сдал, – вздохнул Чамеев.

– Ну, вот видите, – смягчилась секретарь. – Сами ведь все понимаете.

Документы у Чамеева в тот день не приняли.

Но вернемся к Олегу Табонину. В отличие от Чамеева он был дисциплинирован. Загодя обзавелся баночкой из-под майонеза и решил все сделать как полагается. Однако неожиданно встал вопрос о транспортировке баночки. Кожно-венерологический диспансер, куда ее следовало отнести, находился в двадцати минутах ходьбы от его дома. Проблема заключалась в том, что баночка никак не закрывалась. А значит, ее невозможно было поставить в сумку – содержимое бы расплескалось. Оставалось только одно – идти в КВД и держать баночку в руке. Но открыто сделать это было немыслимо. Идти по городу? У всех на виду? С банкой мочи?.. Просто невозможно. И Олег решил замаскировать банку. Он взял местную эстонскую газету. Сделал из нее небольшой кулек и обернул им банку. Прохожие изредка оборачивались, удивляясь скромному юноше, который идет по Тарту и торжественно держит перед собой какой-то кулек. Табонин напоминал романтического влюбленного, спешащего на свидание с букетом цветов. Только двигался он почему-то очень медленно и цветов было не видно. Пробежавшие мимо дети то и дело норовили заглянуть в кулек. Мол, чего это там дядя прячет? Может, конфеты? Или семечки?

Олег был уже на полпути к КВД, как вдруг пошел дождь. Сначала он накрапывал, а потом хлынул как из ведра. Зонтика не было. Кулек, маскировавший банку с мочой, намок, обмяк и, наконец, развалился, явив прохожим небольшую стеклянную емкость с мочой, подлежащей анализу. Пришлось моему другу выливать все это под ближайшее дерево. Так неудачно закончилась первая попытка транспортировки мочи.

Но Олег Табонин был не из тех, кто отчаивается. На следующий день он вновь отправился в КВД с заветной баночкой, предусмотрительно обернув ее черным полиэтиленовым пакетом. Дождя, к счастью, не было. Олег шел по Тарту и что-то радостное насвистывал себе под нос. Вот из-за поворота уже показалось серое здание диспансера. Олег прибавил шагу. Он подошел к крыльцу с черными перилами, как вдруг дверь, ведущая в диспансер, открылась и из нее вышел Юрий Михайлович Лотман. Собственной персоной. Легенда отечественной филологии. Эпохальный ученый.

Квартира Лотмана размещалась в этом же доме. На первом этаже располагались кабинеты диспансера, а на втором жил Лотман.

Столь нелепое соседство часто сопровождалось недоразумениями. Какой-нибудь незадачливый донжуан по ошибке звонил Лотману. И на строгое: “Кто здесь?” – припадал к замочной скважине и слезно молил автора “Структуральной поэтики” и “Бесед о русской культуре” вылечить его от венерической напасти. Лотман всегда отвечал категорическим отказом.

Потому, увидев Лотмана, Олег не удивился и вежливо поздоровался. А Лотман, в свою очередь, решил, что Табонин как верный ученик пришел навестить его, Лотмана. Он и заподозрить не мог, что у студентов есть какие-то дела в КВД.

– Здравствуйте, здравствуйте! – радостно сказал Лотман. – Очень кстати. Мы как раз сейчас садимся обедать. Я вот на пять минут спустился воздухом подышать. Целый день за столом, знаете ли...

Олег смутился. Ведь он пришел сюда вовсе не за этим. Но возражать великому Лотману, перед которым он благоговел, было невозможно. Сказать: “Я не к вам, Юрий Михалыч, я мочу сдавать”, – позор.

– Да я, собственно... – начал было он, но Лотман его перебил.

– И слышать ничего не хочу! Пообедайте с нами. Идемте!

С этими словами он открыл дверь, жестом приглашая своего юного гостя войти. Олег успел, однако, поставить банку на дно урны, стоящей у двери.

Когда он через час спустился и заглянул в урну, банки там уже не было. Видно, она приглянулась какому-нибудь эстонцу как предмет, безусловно, необходимый в хозяйстве.

Случай из педагогической практики

Студенческие инициативы, даже если они проявляются вне стен университета, часто раздражают старых опытных работников образования. Своей смелостью и артистизмом, на которые способен только по-настоящему одинокий человек с обнаженным сердцем.

И если вы открыли гостиницу где-нибудь на берегу Красного моря и вам нужны аниматоры – приглашайте студентов, но предоставьте им полную свободу. Аквааэробика, водное поло, соревнование по настольному теннису, конкурс, кто дальше плюнет, – забудьте про них! Это вчерашний день. Положитесь на инициативу студентов и не мешайте им. Они сами всё придумают и организуют досуг ваших постояльцев. Не сомневайтесь. Правда, будет немного жутковато. Но зато смешно. Главное – не надо пугаться и пить валокордин. Пусть жизнь течет своим чередом и непредсказуемо самовозрастает. Людям это нравится. Они ведь любят читать, смотреть, слушать, но только не жить.

А вот моей однокурснице, Наташе Арагоновой, однажды не повезло. Это произошло в 1988 году. У нас тогда началась летняя педагогическая практика. Наташа была лучшей студенткой на курсе, и администрация факультета, приняв во внимание положительные отзывы о Наташе со стороны решительно всех, направила ее на передовой край педагогической работы, в пионерский лагерь.

Наташа приехала туда в составе небольшой, но тесно сплоченной группы студентов-филологов, охваченных педагогическим энтузиазмом.

Она стала командиром отряда будущих ленинцев, “внучат Ильича”, как их тогда называли, и ей присвоили почетное звание старшей пионервожатой. Сначала все шло, как полагается: подъем, зарядка, завтрак, торжественные линейки, викторины. Дети были без ума от своих пионервожатых, а те отвечали им взаимностью. Но потом все друг от друга устали. Наташе надоело вставать ни свет ни заря, разнимать драчунов, вытирать сопли и слезы плаксам. Она, конечно, продолжала выполнять свой педагогический долг, но уже без прежнего рвения. Те же внутренние изменения произошли и с ее однокурсниками. Пионеры оказались предоставлены самим себе и не особо расстроились. Им надоело ходить шеренгами и петь песни. Теперь они могли расслабиться: сбегать к речке искупаться (что было строжайше запрещено внутренним распорядком лагеря) или спать весь день. Некоторые даже стали пробовать курить.

Все эти изменения в жизни педагогической общины не укрылись от бдительного ока директора пионерлагеря. В один прекрасный день он собрал пионервожатых на “летучку” и объявил:

– В лагере упал боевой дух! Пионеры болтаются без дела! Систематически нарушают дисциплину! Вчера двух разгильдяев поймал за сараем – курили! Короче, надо принять меры. Прежде всего, – тут он остановился и перевел дух, – нужно как следует пропесочить тех, кто тайком курит. Этим займетесь вы, – обратился он к Наташе. – Вы у нас словесник. Короче, придумайте что-нибудь... Стенгазету выпустите о вреде курения, сатирического, так сказать, содержания. Или там плакат повесьте: мол, курить вредно. Короче, действуйте, фантазируйте.

Наташа с ее приятелем вернулись в свой пионервожатый барак, сели и стали напряженно думать. Прошло почти полчаса, но в голову ничего фантазийного не приходило. И тут ее взгляд

упал на череп, который по рассеянности оставили студенты-медики, составлявшие предыдущую когорту пионервожатых.

– Давай, – предложила она, – сделаем инсталляцию с черепом о вреде курения. Будет и педагогично, и действенно-устрашающе. Нужно только достать кости, чтоб у нас был череп со скрещенными костями. А сверху укрепим плакат сатирического, так сказать, содержания, как велел директор.

Сказано – сделано. Кости сразу нашлись. За околицей лагеря уже много лет лежал побелевший и распавшийся скелет пса Тузика, верой и правдой охранявшего лагерь еще во времена Хрущева и тогда же, по всей видимости, околевшего. Наташа и ее приятель выбрали две самые крупные кости и отправились работать над инсталляцией: обрабатывать материал, клеить, связывать его части, рисовать плакат.

Все в лагере знали, что ведется работа над сатирическим плакатом. Директор страшно радовался. Он сказал, что пусть, мол, наши энтузиасты пока ничего никому не показывают, укроют до поры до времени свою работу белым покрывалом, а утром на торжественной линейке снимут покрывало и устроят всем сюрприз.

Наступило утро. Дети выстроились на торжественной линейке. Директор произнес несколько официальных слов. Затем Наташа подошла к своему произведению и сдернула покрывало.

Директор схватился за сердце и попросил медсестру сбежать за валокордином.

Глазам присутствующих предстало следующее. К огромной толстой палке, врытой в землю, был приделан череп со скрещенными костями. К верхней челюсти черепа была прилеплена сигарета. Нижней челюсти у черепа вообще не было. На ее месте болтался пионерский галстук. К той же палке над черепом был прикреплен большой белый плакат, на котором красным фломастером было коряво выведено:

ВОТ ТЕБЕ ЖИВОЙ ПРИМЕР,

КАК СКУРИЛСЯ ПИОНЕР!

Дети были в полном восторге.

А Наташе объявили строгий выговор и чуть не отчислили из университета.

Университетские поэты

Одиночество заставляет превзойти себя, собственные чувства, мораль, искусство и устремляет нас к неизвестному. Любить, быть честным и справедливым, сочинять стихи романтического, извиняюсь, содержания, больше не требуется. Особенно сочинять стихи. Все уже давно и так сочинено. Но если такое случается – молодость чересчур поспешна, – всегда выходит какая-то белиберда. Облачаясь в слово, жизнь иссякает. А если поэт берет в руки гитару, скрипку или гусли – тогда она показывает ему кукиш. Я это понял на третьем курсе, когда познакомился с Андреем Борисовым.

Нас представил друг другу Витя Андреев. Тот самый, из моей школы, который когда-то описался на уроке. Он выманил меня пальцем из кольца девушек, с которыми я курил во двореке факультета, взял за локоть и подвел к какому-то человеку небольшого роста и с густой рыжей бородой. Этим человеком и был Борисов. Андреев учился на историческом факультете, а я на филологическом. Мы оба были студентами третьего курса и подавали большие надежды. Так, по крайней мере, говорили. Борисов учился на год младше и тоже подавал надежды. Впрочем, преподаватели сетовали, что он все время “разбрасывается”.

К нам с Андреевым в этом смысле никаких претензий не было.

Борисов действительно “разбрасывался”. То он лихорадочно штудировал лингвистические опусы и утомлял окружающих пересказом всем известных филологических статей. То он, по его же словам, “выходил на чисто математические проблемы” (так, наверное, дореволю-

ционный крестьянин Орловской губернии, вооруженный рогатиной, выходил на медведя). И тогда преподавателю кафедры математической лингвистики приходилось от него запирается в кабинке мужского туалета на втором этаже.

Был период, когда Борисов увлекался фольклором. Он раздобыл где-то в диалектологической экспедиции гусли. Привез их в Ленинград. И вечерами в какой-нибудь свободной аудитории факультета давал небольшие концерты.

На его бенефисы, как правило, приходили филфаковские патриоты-русофилы. А также студенты, увлекавшиеся иудаизмом (эти потом отбыли на историческую родину).

Появлялись и всякие разгильдяи вроде меня, которые ни к каким движениям не примыкали. Хотя нет... Чего это я вру? Я ведь тогда считал себя хиппи. Ну или пацифистом... Не помню уже. Потом это все закончилось. А тогда я ходил в драных джинсах, носил волосы до плеч и очки-велосипеды а-ля Джон Леннон.

В ухе у меня неизменно торчала английская булавка.

Это был намек скандальным панкам, что я с ними, мол, тоже дружу. Помогала она не всегда.

В таком вот виде я и слушал Борисова, перебиравшего свои гусли.

Патриоты внимали Борисову хмурясь. Им казалось, что еврей-инородец, играющий на гусях, бесчестит исконно русское.

Иудеи тоже сидели с недовольными лицами. Все происходящее они воспринимали как надругательство над духом богоизбранного народа.

Я в это брэнчанье особо не вслушивался, так как приходил туда только из уважения к Борисову.

Борисова я почти боготворил.

Он был старше меня лет на пять и на тот момент успел уже два раза жениться и развестись.

Он родился в Калуге. Учился два года в Московской консерватории по классу скрипки. А потом все бросил.

Борисов вспомнил, что по матери он Ицкович. “Ицкович” настойчиво стучался в его подсознание и требовал свободы.

И вот Борисов решил уехать. Туда, где живут одни евреи.

Догадываетесь теперь, куда он поехал? Нет, не в Израиль.

В Еврейскую автономную область. Из Москвы...

Борисов прожил среди “евреев” три года.

Он устроился солистом-скрипачом в Биробиджанскую филармонию. Получил жилье. Женится. Женой его стала какая-то местная баскетболистка. Если учесть, что росту в нем было где-то метр шестьдесят, то смотрелись они как актеры средневекового цирка или участники ежегодного нью-йоркского парада фриков.

Три года на Дальнем Востоке.

Больше Борисов не выдержал. Он сорвался с места и уехал в Ленинград поступать на филфак ЛГУ. Там мы и познакомились.

Витя Андреев не одобрял нашей дружбы. Борисов считал, что это потому, что Витя антисемит. А Витя вовсе не был антисемитом. Он просто считал, что у Борисова не все дома, и Борисов в этом смысле дурно на меня влияет, пробуждая в моей неокрепшей голове безумие. Но мы с Борисовым все равно дружили.

Хотя это было непросто. Борисов часто бывал в депрессии. Причиной всякий раз оказывалась неразделенная любовь.

Однажды Борисову из-за несчастной любви пришлось даже переночевать в милиции. Его бросила девушка, которую он любил и которой посвящал стихи (эти стихи Борисов благоразумно никому не показывал).

А вот другой мой друг...

Тут я должен сделать отступление.

Когда человек говорит вам (как бы между прочим): “А знаешь, я пишу стихи! Хочешь послушать?” – гоните его в шею или сами бегите от него. Настоящий поэт такого не предложит. В крайнем случае, подарит сборник или рукопись.

А вот другой мой университетский друг, Женя Гибайло, заставлял меня часами выслушивать то, что он “набросал за последние дни”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.